



Карты Нечисть Безумие

РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Яркие страницы. Коллекционные издания

Александр Грин

**Карты. Нечисть. Безумие.
Рассказы русских писателей**

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)я43

Грин А. С.

Карты. Нечисть. Безумие. Рассказы русских писателей /
А. С. Грин — «Эксмо», — (Яркие страницы. Коллекционные
издания)

ISBN 978-5-04-199873-8

Все страсти людские нашли отражение на страницах этого сборника: тут и честолюбие на грани с одержимостью, и сжигающий все рамки приличия азарт, и хтонический страх перед чем-то древним и неизведанным... А главное — безграничное любопытство в исследовании всех темных уголков человеческой души. Да такое, что сам Сатана спускается на землю и пишет свой дневник. Здесь вы найдете избранные мистические произведения от лучших русских прозаиков середины XIX — начала XX века — Гоголя, Гумилева, Андреева, Куприна и др. Дизайн этого лимитированного издания серии «Яркие страницы» вдохновлен принтом обоев Уильяма Морриса, созданным в 1896 году для поместья Комптон-холл близ Вулвергемптона.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)я43

ISBN 978-5-04-199873-8

© Грин А. С.
© Эксмо

Содержание

Николай Гоголь	6
Часть I	6
Часть II	25
Михаил Лермонтов	36
1	36
2	39
3	42
Валерий Брюсов	46
Николай Гумилев	51
Карты	51
Путешествие в страну эфира	53
I	53
II	54
III	55
IV	56
V	57
Леонид Андреев	59
Мечта	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Карты. Нечисть. Безумие

© Мартыненко А.М., 2024

© Новгородова М.И., 2024

© Парамонова А.М., составление, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Николай Гоголь

Портрет

Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, – вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царица Милиция Кирилловна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах.

Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей – куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Ерусланов Лазаревичей*, на *объедал и обпивал*, на *Фому и Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу;

но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось всё глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобывшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них,

а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

– Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! – Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. – Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

– Постой, брат, не так скоро, – сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

– А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, – и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, – словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

– А что ж, возьмите портрет! – сказал хозяин.

– А сколько? – сказал художник.

– Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

– Нет.

– Ну, да что ж дадите?

– Двугривенный, – сказал художник, готовясь идти.

– Эх цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только, что первый покупатель.

За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» – сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще дома, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!», и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров.

С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубашке, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил всё время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и всё немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу.

– Свечи нет, – сказал Никита.

– Как нет?

– Да ведь и вчера еще не было, – сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

– Да вот еще, хозяин был, – сказал Никита.

– Ну, приходил за деньгами? знаю, – сказал художник, махнув рукой.

– Да он не один приходил, – сказал Никита.

– С кем же?

– Не знаю, с кем... какой-то квартальный.

– А квартальный зачем?

– Не знаю, зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

– Ну, что ж из того выйдет?

– Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

– Пусть их приходят, – сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, – говорил ему не раз его профессор, – у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится – ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство – пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть, – словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвиди, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосыгаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить всё и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

– Да! терпи, терпи! – произнес он с досадою. – Есть же, наконец, и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? В займы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята не даром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки – и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурального класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо

вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыв с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: всё лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и всё еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? – невольно вопрошал себя художник. – Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Всё равно как вид в природе: как он ни великолепен, а всё недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий всё в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного

чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизившись к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперились он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть – и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевелиться, сделать какое-нибудь движение – не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья.

Это был мешок. Старик развивал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подальше от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянув на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал крепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам, – видно, старик вспомнил, что доставало одного свертка. И вот – он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил всё усилие сделать движение, вскрикнул – и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» – сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда – уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон, – черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать... С воплем отчаяния отскочил он – и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положении, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, – так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доньне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» – вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся!

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давление ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало всё еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Всё было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрнтовым холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернув простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он всё-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения «Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» – сказал он, тяжело вздохнувши; и в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставившись неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, – как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владельцы домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны, – творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп;

но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задибался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрыгивался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

– Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, – сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, – вот не платит за квартиру, не платит.

– Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

– Мне, батюшка, ждать нельзя, – сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, – у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека, – вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

– Да, уж если порядились, так извольте платить, – сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

– Да чем платить? – вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

– В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии, – сказал квартальный, – он, может быть, согласится взять картинами.

– Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубаше, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать! Ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повывергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И всё это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живет хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

– Хе, – сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, – предмет, того... игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

– Тень, – отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

– Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, – сказал квартальный. – А это чей портрет? – продолжал он, подходя к портрету старика. – Уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный? Ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

– А это с одного... – сказал Чартков, и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный, бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

– Никак деньги зазвенели, – сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидеть его за быстротой движения, с какою бросился Чартков прибрать.

– А вам какое дело знать, что у меня есть?

– А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, – вот что.

– Ну, я заплачу ему сегодня.

– Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

– Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру всё заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

– Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, – сказал квартальный, обращаясь к хозяину. – А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумьи.

– Слава Богу, черт их унес! – сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотую кучею, всё еще спрашивая себя, не во сне ли всё это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал и всё еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладях, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета? Полный романтического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существование портрета с его собственным существованием, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но всё еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет, – сказал он сам в себе, – чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилося сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? – думал он, уставив на них глаза. – Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформу ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было всё то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилося ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, – и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфетов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолебеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и всё, что ни было: станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже – забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание непреодолимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился неведь куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства. И на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «*О необыкновенных талантах Чарткова*»: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж – всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кухне, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами, или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградой».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно – это было для него новостью; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству – честь, доньше ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волосы, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним

лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

– Вы мсьё Чартков? – сказала дама.

Художник поклонился.

– Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. – Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. – А где же ваши портреты?

– Вынесли, – сказал художник, несколько смешавшись, – я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали.

– Вы были в Италии? – сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесить его.

– Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла-с, вы устали?..

– Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон, наконец, вижу вашу работу! – сказала дама, побегав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. – *C'est charmant! Lise, Lise, venez ici!*¹ Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, – видишь, как пыль нарисована! *C'est charmant!* А вот на другом холсте женщина, моющая лицо, – *quelle jolie figure!*² Ах, мужичок! *Lise, Lise, мужичок в русской рубашке!* смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

– О, это вздор... Так, шалил... этюды...

– Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

– Кто этот Ноль? – спросил художник.

– Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. *Lise*, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

– Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, впери глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длину времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

– Знаете ли, – сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, – я бы хотела... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду

¹ Это очаровательно! Лиза, Лиза, пойди сюда! (*франц.*)

² Какое красивое лицо! (*франц.*)

каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща... чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько всё это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали – и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл всё, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

– Довольно, на первый раз довольно, – сказала дама.

– Еще немножко, – говорил позабывшийся художник.

– Нет, пора! Lise, три часа! – сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: – Ах, как поздно!

– Минуточку только, – говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно, – подумал про себя Чартков, – рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте – пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Compliment, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать, и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить всё в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: «Ах, зачем это? это

не нужно, – говорила дама. – У вас тоже... вот, в некоторых местах... как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», – сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъяснила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем всё, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, нагнавшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками.

– Lise, Lise! Ах, как похоже! *Superbe, superbe!*³ Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совесть и потупя голову, он произнес тихо:

– Это Психея.

– В виде Психеи? *C'est charmant!*⁴ – сказала мать, улыбнувшись, причем улыbnулась также и дочь. – Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? *Quelle idee delicieuse!*⁵ Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? – подумал художник. – Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», – и произнес вслух:

– Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

³ Великолепно! Великолепно! (франц.)

⁴ Это очаровательно! (франц.)

⁵ Какая восхитительная мысль! (франц.)

– Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика Психеи.

– Довольно! – сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатием руки, приглашением на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множественностью лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, – стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что всё нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выражение и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъясны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумление художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался, наконец, в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на всё это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми вверх вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямооты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования: всё это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются, как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона

и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не всё хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

– Нет, я не понимаю, – говорил он, – напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по несколько месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, – говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, – этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я... я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»⁶

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положение и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он всё-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, – всё это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти.

О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славой, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чаркова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угас-

⁶ Есть что-то необыкновенное во всей его внешности! (франц.)

нута дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, – не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что всё на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и всё необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда всё, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадает в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своею, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, – в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегоольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли, или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, всё отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам заставлялся перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с теми великими учителями и чтобы не прочесть в их созданных безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учителя одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял, наконец, себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней всё есть, чего хочешь, и что нет ничего, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многочисленными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Всё тут, казалось, соединилось вместе: изучение Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывущая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как всё извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объаты все, вперившие глаза на картину, – ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась, наконец, в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда, наконец, обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть теплившегося в груди, может быть развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить всё это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы.

Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души.

Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынести прочь из своей мастер-

ской все последние произведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было всё то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначущий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения.

Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? – сказал он наконец. – Не обманулся ли я?» И, произнеся эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работали когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острове, вдали людей, изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, – проговорил он отчаянно, – у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы...»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно-вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукинском дворе. Всё время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул вверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант, – почти бешенство готово было ворваться к нему в душу.

Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение оттого не умирало: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния.

Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать всё лучшее, что только производило искусство. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицания, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые,

завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточно отравить потом весь день.

К счастью мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, всё это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его лечить и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему видениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиогномию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы, на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выражение лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, шупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется.

Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владельца, может быть не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты – всё было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Всё представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем всё отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелью и картинами, скупно изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Всё это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатления.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль» – не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выражением в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли внимание почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набрали невозможную. Остались только два известных аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за

что отказаться от такого приобретения. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

– Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: всё показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

– Как ни странны вам покажутся слова мои, – продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, – но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть вы увидите, что я был вправе произнести их. Всё меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

– Вам известна та часть города, которую называют Коломною. – Так он начал. – Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь всё тишина и отставка; всё, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахара, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, – людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсию, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчис-

лить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи – таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконо́м не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выражаемых нищенских лхмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один – существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо-страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, – с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какую угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так по крайней мере говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распушенные слухи – это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, прочивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными.

Ему хотелось всему дать работу, всё поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не

хотел отстать от своего дела, искал везде занять и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал, наконец, подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть, наконец, престола.

Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспир, Мольер процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волнение и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды – всё соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадает на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Всё, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандиссон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положение дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блажен-

ство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло всё иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников.

Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движении неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя – и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волосы и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки... словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что всё это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдаль его непомерную высокую фигуру.

В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставляло бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды – всё, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствования и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титул невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собою истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живопи-

сю и почему огромная картина исторического содержания всё-таки будет *tableau de genre*⁷, несмотря на все притязания художника на историческую живопись.

И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко. «Что на них глядеть, – обыкновенно говорил он, – ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймёт меня – поблагодарит, не поймет – всё-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, – зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержания семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выражение, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то – на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его всё тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

– Ты художник? – сказал он без всяких церемоний моему отцу.

– Художник, – сказал отец в недоумении, ожидая, что будет далее.

– Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? – он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, – всё это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» – сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещение. «Экая сила! – повторил он про себя. – Если я хотя вполтину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» – повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали перехо-

⁷ Жанровая, то есть бытовая картина (*франц.*).

дить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальной точностью всякую незаметную черту и выражение. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Вечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Всё это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал беспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение.

Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы.

Наконец, к довершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! – говорил он. – Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы.

Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь».

И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился, наконец, того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И, точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею, как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, – сказал он, – но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первен-

ство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движении застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело всё, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

– Что ты делаешь, что собираешься жечь? – сказал он и подошел к портрету. – Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

– А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, – сказал отец, сделавши движение швырнуть его в камин.

– Остановись, ради Бога! – сказал приятель, удержав его. – Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

– Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамление. Она была замыслена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

– Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное... Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила...

– Как? – сказал отец мой.

– А так, что с тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие... я и сам не умею сказать, сны ли это, или что другое: точно домовый тебя душит, и всё мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожидание чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и, наконец, спросил:

– И портрет теперь у твоего племянника?

– Куда у племянника! не выдержал, – сказал весельчак, – зная, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыв с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзания зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастья, три внезапные смерти – жены, дочери и малолетнего сына – почел он небесною казною себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостойн взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословения настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпения и того непостижимого самоотвержения, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых.

Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищею, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти.

Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смирения и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдаль, торжественное молчание пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, – всё это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину:

святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословение небес почило на труде твоём».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию – лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько слышал о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденя. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти

божественный старец! И следов измождения не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

– Я ждал тебя, сын мой, – сказал он, когда я подошел к его благословенью. – Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога – не погуби его. Исследуй, изучай всё, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умеи находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, – во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое создание искусства. Всё принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожеланием, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты...

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

– Есть одно происшествие в моей жизни, – сказал он. – Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив всё, быть верным природе. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, – не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождающая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гонения и угнетения. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гонения. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызну-ту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

– Исполни, сын мой, одну мою просьбу, – сказал он мне уже при самом расставании. – Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его

узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, – во что бы то ни было истреби его...

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случилось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе...

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманием слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриваньем старинных картин.

1833

Михаил Лермонтов Штосс

1

У графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморожденных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, прищипленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

– Здравствуйте, мсье Лугин, – сказала Минская кому-то, – я устала... скажите что-нибудь! – и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

– Скучно, – сказала Минская и снова зевнула, – вы видите, я с вами не церемонюсь! – прибавила она.

– И у меня сплин! – отвечал Лугин.

– Вам опять хочется в Италию? – сказала она после некоторого молчания. – Не правда ли?

Лугин, в свою очередь, не слышал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

– Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! – вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, – и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.

– Призовите доктора, – сказала она.

– Доктора не помогут – это сплин!

– Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

– В кого?

– Хоть в меня!

– Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, – и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

– А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

– Вот видите, – отвечал задумчиво Лугин, – я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью; я себя спрашивал,

могу ли я влюбиться в дурную? – вышло нет; я дурен – и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне невероятных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыть до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно – а правда!..

– Какой вздор! – сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; большие и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старше, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии – и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

– Куда вы? – спросила Минская.

– Прощайте.

– Еще рано.

Он опять сел.

– Знаете ли, – сказал он с какою-то важностию, – что я начинаю сходить с ума?

– Право?

– Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера – и как вы думаете – что? – адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко – точно торопится... Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

– Вы, однако, не видите того, кто говорит? – спросила она рассеянно.

– Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

– Когда же это началось?

– Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! – сказал он, принужденно улыбаясь.

– У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.

– Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

– Самое лучшее средство, – сказала Минская, подумав с минуту, – идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой

мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!.. – прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

– Вы правы, – отвечал угрюмо Лугин, – я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вслед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных клыч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повесив голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

– Где Столярный переулоч? – спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостю и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулоч? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

– Столярный? – сказал мальчик, – а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулоч и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулоч, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

– Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше...

– Да мне надо Штосса...

– Ну не знаю, – Штосса!! – сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: – Нет, не слышать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулоча, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам – и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

– Эй! дворник, – закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

– Чей это дом?

– Продан! – отвечал грубо дворник.

– Да чей он был?

– Чей? Кифейкина, купца.

– Не может быть, верно, Штосса! – вскрикнул невольно Лугин.

– Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! – отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, стубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

– Новый хозяин здесь живет?

– Нет.

– А где же?

– А черт его знает.

– Ты уж давно здесь дворником?

– Давно.

– А есть в этом доме жилыцы?

– Есть.

– Скажи, пожалуйста, – сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, – кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

– В двадцать седьмом номере?... да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

– Разве его не нанимали?

– Как не нанимать, сударь, – нанимали.

– Как же ты говоришь, что в нем не живут!

– А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

– Ну, а кто его последний нанимал?

– Полковник, из анженеров, что ли!

– Отчего же он не жил?

– Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку – так номер пустой за ним и остался.

– А прежде полковника?

– Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, – да этот и не переезжал; слышно, умер.

– А прежде барона?

– Нанимал купец для какой-то своей... гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» – подумал Лугин.

– А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

– Как нельзя? можно! – отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленной замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не зная почему, понравились Лугину.

– Я беру эту квартиру, – сказал он. – Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить... – В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, – платье, волосы, рука, перстни – все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно брошенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, – и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление – и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» – подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

– Что ж, барин? – проговорил он наконец.

– А!

– Как же? коли берете, так пожалуйста задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, – думал Лугин. – Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться – это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? – ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: Середа.

– Какой нынче день? – спросил он Никиту.

– Понедельник, сударь...

– Послезавтра среда! – сказал рассеянно Лугин.

– Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

– Пошел вон! – закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

3

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал – женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка.

С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать – кисти выпадали из рук; пробовал читать – взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал – ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостойн был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, – сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

– Кто там? – вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

– Кто это? – повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали открываться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь открывалась сама; в той комнате было темно, как в погребке.

Когда дверь открылась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сторбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймой, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

– Что вам надобно? – сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

– Это несносно! – сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, – подумал Лугин, – если это привидение, то я ему не поддамся».

– Не угодно ли, я вам промечу штосс? – сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном:

– А на что же мы будем играть? я вас предвещаю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение...) А если хотите, – продолжал он, – я поставлю клонгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

– У меня в банке вот это! – отвечал он, протянув руку.

– Это? – сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, – что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.

– Мечите! – потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клонгер, положил его на карту. – Идет, темная.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она соника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

– Еще талью! – сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

– Что же это значит?

– В середу, – сказал старичок.

– А! в середу! – вскрикнул в бешенстве Лугин, – так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

– Хорошо, – наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! – говорил он, стараясь себя утешить, – переупрямил. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделяется. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! – думал он, – верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять

раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

– Позвольте, – сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

– Что бишь я хотел сказать! позвольте, – да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

– Хорошо... я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

– Я иначе не играю, – проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

– Что-с? – проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

– Штос? кто? – У Лугина руки опустились: он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное – то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, – то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему, – одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, – он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

– Завтра, – сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал.

Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; она – не знаю, как назвать ее? – она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда осво-

бодится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце – отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

1841

Валерий Брюсов

Студный бог

Я был в купе вагона один, лежал и думал. Я люблю ехать по железной дороге, люблю мерный грохот, люблю панораму окон и миры станций, оживающих на три минуты. Было ненастно: дождь косыми чертами сек оконное стекло; уже темнело, и дальние огни расплывались в смутные пятна.

Я был один, и думал, и мечтал, отдаваясь одному из своих любимейших мечтаний, которому отдаюсь, как ложатся в знакомую постель, зная, что будет мягко и тепло. Я думал о будущем, о электрических или еще иных дорогах, способных облететь земной шар в несколько часов, о величественном Городе, о новой Северной Столице, где-нибудь на полюсе, с ее стеклянной крышей, со стремнинами стен и с узкими ущельями улиц, где в вечно искусственном свете будут кишеть несметные толпы. Я думал о будущей жизни, осуществляющей все наши замыслы и желания, освобожденной от всех внешних забот, торжественно размеренной и защищенной знанием и опытом ото всех случайностей. Я чувствовал в себе первые всплески той же волны, которая вознесет человечество на эту высоту, первые прозябания семени, которые дает этот упоительный плод. Мне казалось, что я уже причастен тому сверхчеловеческому существованию. И, засыпая под чугунное баюканье колес, я был исполнен какой-то сладкой гордостью.

Меня разбудил чей-то пристальный взгляд. Поезд летел, гремя и порываясь. Но, видно, на одной из маленьких платформ ко мне сел другой пассажир. Не открывая еще глаз, я представил себе с ясностью его красивую узкую бороду и мягко выющиеся усы, широкополую узкую шляпу и упорный взор. Человек продолжал смотреть на меня, и я спросил его: «Вы правда человек или во сне, или дьявол?» Тут я совсем проснулся, сразу понял нелепость своих вопросов, открыл глаза и сел на диван. Человек был именно таков, как я его себе представил.

Нисколько не удивившись на мой вопрос, он мне ответил:

– Я человек, но, впрочем, послан дьяволом.

Я люблю случайности дорожных встреч, беседы, когда надо угадывать, кто твой собеседник, тогда каждый раз нужен новый, уже никогда не повторимый прием, чтобы заставить его сказать все. То, что мои первые слова показались естественными, давало разговору тон неожиданный и заманчивый.

– Вы нарочно отыскиали меня? – спросил я.

– Должно быть, – отвечал мне этот человек в узкой шляпе. – Мне самому было любопытно, зачем я иду на вокзал и куда еду. Увидев вас, я догадался, что мне нужно будет все рассказать вам. Вы какой-нибудь из ученых?

– Не очень.

– Тогда я не понимаю. А скажите, верите ли вы в дьявола?

Обычно я отвечаю да, но теперь мне показалось лучшим рассмеяться презрительно.

– Вообще не приучен верить.

– И однако, – возразил мне мой спутник, – это еще не причина. Мои родители воспитывались на Писареве. Я читал Дарвина, когда не знал еще ни одной молитвы. Положительное значение, трезвое отношение к действительности, факты, факты – я больше ни о чем не слышал в детстве. Но разве это меняет дело и мешает верить? Разве те самые, которые говорят против, не верят ну там хоть в прогресс или, как теперь, в индивидуальность? Разве вера не такая потребность души, как любовь, как для тела питание? Попробуйте никого и ничего не любить, тяжело. Можно питаться вместо мяса плодами, но ведь ничего не есть нельзя. И ни во что не верить тоже.

– А вы и в дьявола верите? – спросил я.

– Да ведь по необходимости. Иначе уж очень запутано становится. А приняв дьявола, все просто и отчетливо. Метод требует. Так ум человеческий устроен. Надо принять пространство, хоть бы вы отчаянейшим скептиком были, иначе не разберетесь. Также и дьявола. Можно, конечно, от слов уклоняться, говорить о несовершенстве нашей мыслительной машины, да ведь то ж на то ж выйдет. Кстати, я думаю, что самый ум человеческий выдумал дьявол. Бог создал нас по образу и подобию Своему, – это тело и дух, а дьявол, искусив род человеческий, дал ему мысль. Разве так нельзя толковать библейского рассказа?

– Его и до вас многие так толковали, – сказал я, – да все в Средние Века так думали. Недаром.

– Да, да, конечно, – даже как-то обрадовался мой собеседник, – должно быть, правда, если разные люди до одного и того же додумались. То есть обыкновенная, человеческая правда. И вся наука поэтому дьявольское устройство. О, мои слова что-нибудь значат. Это не просто пять слов, кем-то сказанных. Я имею право говорить о науке, потому что я жил ею, я думал жить ею. Я любил ее уже за то только, что она наука. Мальчиком, четырех лет, я воображал себя ученым. Я вместо кубиков строил себе домики из книг и касался их, как святых предметов. Мне тридцать три года, милостивый государь, но я не любил ни одной женщины, потому что любил учиться, и исследовать, и думать, и находить. Как мог я полюбить такую-то женщину, если логическую необходимость этого доказать невозможно. Нет, я никогда не был влюбленным.

Вдруг, переменив ход речи, спросил меня:

– Знакомы ли вы с пуническими древностями?

– Только по «Саламбо» Флобера, – отвечал я.

– Ну, так вы ничего не знаете. Пуническая археология началась лет пятнадцать тому назад. Очень уж римляне постарались разрушить город. Помните: место было вспахано. То есть должно быть не все вспахано, ведь город был огромный. Остатки стен и теперь попадаются, но надо искать. Было три ряда стен. От Туниса едешь по особой ветке до станции. Выходишь, слева пустыня, направо холм: это Биреа. Котонской гавани нет, ее затянуло песком. На холме, где прежде был храм Эсмуна, теперь церковь во имя св. Людовика, госпиталь и гостиница «белых отцов», просветителей Африки. Тут же живут и те, кто производит раскопки.

Он остановился на мгновение. Какая-то станция промелькнула мимо – мы не остановились, пролетели дальше, словно даже с ускоренной быстротой.

– Знаете ли вы, – продолжал мой собеседник, – что пуны не меньше египтян заботились о своих умерших? По их убеждениям тоже судьба души по смерти зависела от состояния тела. В каменистой почве, на которой стоял Карфаген, они рыли шахты прямо вниз, отвесно в несколько аршин, потом горизонтальные ходы, там, наконец, устраивали могильники; впоследствии все засыпали, над шахтой наносились груды песка, вырастала трава, и никто не знал, что под землей лежат мертвые, что их стерегут там надписи и чудовищные лики богов из необожженной глины...

У меня были рекомендательные письма, так что я получил доступ к работам. Я спулся вместе с другими в эти шахты, вскрывал могильники, списывал надписи, уносил добычу наверх, из земных недр, к солнцу, после сна в двадцать пять веков, разбирал ее. Большею частью попадалось все одно и то же: мумия или урна с пеплом, несколько фигурок демонов, двурогие лампочки, чаша. Изредка оружие и разная утварь. Надписи тоже однообразные. Обыкновенно перечень предков погребенного, иногда до 12-го колена. А иногда прибавлялись заклятия против тех, кто вздумал бы потревожить мир могилы, да, страшные заклятия...

Я был счастлив, мне казалось, что мы делаем очень хорошее, очень важное и очень нужное дело. Служение науке! Наконец мы дошли до одного очень пышного могильника. О, я знаю надпись его наизусть. Сначала имя, родословие, Магон сын Магона, а потом: «Именем Таниты, нисходящей во ад, да будет мир мне погребенному. Да лежу я здесь тысячу лет или

еще вечность. Ты же, о дерзкий, который читаешь эти слова, кои уж ни один человеческий глаз не должен видеть, да будешь проклят и на земле и в недрах ее, где не едят и не пьют. Да не будет тебе солнце теплым. Да не держит тебя дерево на воле. Да не отходят от тебя ни на шаг демон мучительства, безобразный, беспощадный и не знающий слабости». Вот что там было сказано. И ни один из нас не подумал, что эти слова написаны человеком к людям же, что это просьба брата к братьям и заклинание духа к духу. Мы ж видели в этом только новый текст для изучения языка и для характеристик и нравов того времени. Мы вытащили мумию этого Магона наверх, вытащили всю утварь, бывшую при нем, и среди нее маленького идола, крошечное изображение бога Бэсса, пунического бога всех животных наслаждений, студного бога. У него выпяченный живот и все проявления сладострастной похоти... Этот идол был мне подарен, и я его принял, не только принял, я был рад ему, как драгоценности.

Вы слушаете меня? Я принял в подарок идола, выкраденного из могилы, разорять которую я сам помогал во имя науки. Я бережно уложил идола в вату, а на ночь поставил его около кровати на стол. И вот... я может быть спал, но ведь это же все равно – вот дверь отворилась. Странно, я прежде думал, что привидения входят, не отворяя дверей. Дверь отворилась, и вошел тот самый Магон, чью мумию мы унесли. Я его узнал сразу, как узнают во сне. Ну, конечно, я спал. Он подошел ко мне и сказал по-пунийский (я понимаю): «Ты не побоялся заклатья, которое написал мой сын над вратами моего последнего покоя, мать моя и моя жена будут страдать моей мукой, а я буду тебе мстить». Это очень точные слова. Именно он сказал сначала о сыне, потом о матери и жене, но ничего о своем отце. Сказав, он как бы провалился в пол, по пояс, причем лицо его оказалось на уровне моего тела, он еще смотрел на меня. Потом не стало рук, груди, наконец, лица. И мне показалось, что пахнет фиалками.

Я почему-то не испугался. Правда я встал и зажег свет. Но потом поверил в обычные объяснения, галлюцинации, расстроенные нервы, опять лег и уснул. Но он сказал правду. Он начал мстить мне. Проснувшись утром, я понял, что кто-то со мной, хоть его и не видно. Почему я сразу подумал об этом дьяволе, об этом белом непристойном идоле, который стоял у меня на столе? Я хотел встать и выйти на воздух, но он мне приказал лежать. И у меня не было воли противиться, я лежал. Наконец, я яростно упрекнул себя в малодушии и вскочил. Но в ту же минуту понял, что он уже перестал препятствовать, что именно он приказал мне встать в это мгновение. И весь день я ощущал, что каждое мое движение он мне подсказывает. Чтоб успокоить нервы, я не пошел на раскопки, и, конечно, не было сомнения, что то была его воля.

Когда же, поняв это, я пересилил себя и все-таки спустился в могильник, я догадался, что то был его хитрый маневр, чтоб заставить меня особенно глубоко воспринимать все, что я увижу! Жизнь стала невыносима. У меня не осталось воли. За каждым своим поступком я чувствовал приказ. Я скрежетал зубами, чтобы только вернуть уже сделанное: тогда я поступил бы иначе, но этого не дано никому. Я бежал из Африки. Я уехал не простившись, я не дождался срочного парохода и чуть не потонул на какой-то барке, плывшей в Сицилию, но я остался рабом. Моя душа оставалась порабощена. Я упрямо вез с собой идол студного бога, так как бросить его было бы малодушием (да и он не позволял мне), а вместе с ним всегда, везде со мной был мой господин.

Он мне дает спать иногда, иногда нет. Он дает мне забываться, и мне начинает казаться, что я действую по своему произволу, но вдруг он дико хохочет, и я с отчаянием узнаю, что выполняю лишь его веленья. Он мстит, он беспощаден, он не знает слабости. Я дошел до того, что нахожу род мучительного наслаждения в этом истязании. Я забавляюсь тем, что стараюсь угадать, что он мне сегодня прикажет. Я смотрю на свою жизнь со стороны, я как бы читаю роман своей жизни. И когда он принуждает меня делать величайшие нелепости, я насмехаюсь над самим собой. Когда он ведет меня на смертельную опасность, я иду без страха, ибо мне все равно. Он заставлял меня ложиться на рельсы перед проходящим поездом и позволял вставать лишь в последнюю минуту. Иногда мной овладевает бешенство. Я катаюсь по земле, грызя

свои пальцы, и рычу, как отравленный зверь. Я кричу богохуленья. И потом падаю и плачу от бессилья, сообразив, что это он насмехается надо мной.

Он приказал мне сегодня ехать. Куда, я не знаю. Он приказал мне рассказать все вам. Зачем? И кто вы? Но не все ли равно. Иногда одна мысль мне кажется утешением. Что, если дьяволы давно заполнили эту землю и распоряжаются на ней бессмысленными стадами людей? Мы строим города, наши войска истребляют друг друга, мы пишем книги, наша мысль изнемогает в поисках, а на фабриках корчатся рабочие – но что, если это все большое представление, спектакль для тех, невидимых, их шахматная игра! И не будь у нас сознания, все равно города были бы построены, и войны свершались бы, и книги с глубокими откровениями отпечатаны на паровых станках. И думая, что я не один раб во вселенной, я начинаю дышать вольнее и узнаю хоть одно удовольствие: злорадство.

Всю эту речь мой собеседник произнес довольно спокойно, не заикаясь, плавно, порой немного повышенным голосом, но без жестов и криков, как что-то выученное. Говоря, он смотрел мне в глаза, и порой мне казалось, что он готов вдруг плюнуть мне в лицо или ударить меня. Я не сомневался, что передо мной помешанный, то есть субъект в таком состоянии, которое обычно называется помешательством. Я сделал усилие, чтобы отвлечь его мысль от ее навязчивой идеи.

– Тому пунийцу не за что было преследовать вас и насылать на вас дьявола, – сказал я. – Вы открыли его могилу не затем именно, чтоб его оскорбить, не ради надругания, не из своих корыстных целей, а ради всего человечества. Наука имеет целью воскресить прошлое, а воскрешая пуническую древность, она тем самым воскресит и вашего Магона.

Неожиданно мой собеседник как-то задрожал от ярости, его голос сразу перешел в крик. Нервно схватившись за занавеску окна, он закричал мне в ответ:

– Наука! Наша наука смеет говорить о воскрешении. Врачу, исцелился сам! Мертвой – ей должно прежде воскреснуть самой, исполниться духа живого, взглянуть в бесконечность, не пресмыкаться червем от стебля к стеблю. О, не возражайте, я лучше других знаю силу науки. Историки грядущих тысячелетий составят перечни всем людям, которые только упомянуты где-нибудь в адресе-календаре, в синодиках, во всех книгах, в архивных бумагах, на могильных плитах. Они напишут биографии всех их, год за годом, день за днем и составят всемирный алфавит обитателей земли. Да, составят и напишут, но по сохранившимся бумагам, но тех, кто упомянут. А не упомянутые нигде? Пред теми наука бессильна! От чего не сохранилось клочка бумаги или обломка кирпича, то погибло для науки навсегда. Наука, зависящая от черепков и бумажек, наука, которой угрожают пожары и наводнения! Жалкая наука! Рабство веществу, рабство причинной цепи! А я хочу знать, какой сон снился Сципиону, когда на него ночью напали убийцы, хочу видеть воочию лицо того рыбака, который вез Цезаря через море.

Но наука презирает личность. Она не думает и о Цезаре. Для нее Цезарь – лишь символ все той жадной цепи незыблемых причин. Да, наука ненавидит личность, потому что они противоположны. В личности все только зачем, для нее нет ничего мучительнее, как знать причины. А наука знает только почему. О, наука хороша для жителей удобств, для изобретения фонарей и машин; она угодница плоти, и ее бог – тот самый идол Бэсс, которому я предан за то именно, что служил науке. Я искал знать почему, и вот мщение – знаю каждое движение, знаю, знаю, не кивайте мне головой, знаю, что за ним есть свое почему! Мне не воскреснуть никогда. Моя судьба совершается. И в пытках, прозревший, я славословлю не внемлющее мне Божество, умирая, принимаю казнь как справедливость. А к былому идолу моему, к кумиру Постижения причин я кричу сегодня, что презираю и отвергаю его, и попираю его ногой. И мой властелин знает это и трижды мстит мне за мои слова. Я мал и ничтожен, но разве мой голос будет заглушен и этим грохотом колес, и всеми миллионами миллионов паровозов и фабрик, будущих всемирных, торжествующих. Грохочите громче, я один против вас всех, но я уже понял, и вы уже бессильны.

Одну минуту мне показалось, что в ответ его словам немолчный шум колес по рельсам стал громче и яростней. Я готов был поверить, что этот грохот готов заглушить крики сумасшедшего, который бесновался передо мной. Но замелькали огни, поезд стал замедлять свой бег. Мы подходили к станции.

– Вам, кажется, здесь сходить? – спросил меня вдруг господин в узкой шляпе с мелко завивающимися усами тихим голосом.

– Да, да, здесь, – отвечал я, не зная сам как, потому что мне здесь вовсе незачем было сходить.

Но через мгновение я уже стоял на мокрых потемневших досках маленькой платформы. Свет керосиновых фонарей тускло дробился в этой влаге. Обер-кондуктор засвистал, с паровоза ответили, и поезд вдруг дернулся. Почти тотчас его задний огонь затерялся в густом осеннем сумраке. Начинал капать мелкий дождик.

Я стоял один на незнакомой маленькой станции, среди мглы и сырости, страшно одинокий и ненужный. Около крохотного буфета, где тускло мерцала лампа, какой-то мужичонко с наслаждением переругивался с буфетчиком. Фонарщик шел с лесенкой тушить фонари. И я не знал, подчинился ли я воле моего случайного собеседника или спросонок, не сообразив, что весь разговор был лишь во сне, выскочил на эту дикую, затерянную в лесах платформу, где мне придется отогреваться мерзкой водкой и дремать до утра на грязной скамье.

1901

Николай Гумилев

Карты

*Что селения наши убогие,
Все пространства и все времена!
У Отца есть обители многие.
Нам неведомы их имена.*

Ф. Сологуб

Древние маги любили уходить из мира, погружаться в соседние сферы, говорить о тайнах с Люцифером и вступать в брак с ундинами и сильфидами. Современные – старательно подбирают крохи старого знания и полночью, в хмурой комнате, посреди каменного города вещими словами заклинаний призывают к своему магическому кругу духов бесформенных, страшных, но любимых за свою непостижимость.

Волшебный и обольстительный огонь зажег Бодлер в своем искусственном раю, и, как ослепленные бабочки, полетели к нему жадные искатели мировых приключений. Правда, вслед за ними поспешили и ученые, чтобы, как назойливые мухи, испачкать все, к чему прикоснутся их липкие лапки. Восторги они называли галлюцинацией извращенного воображения.

Никто не слушал их перед светом Высшей правды существования иных вселенных и возможности для человека войти в новые, нездешние сады.

Виденья магов принадлежат областям нашего подсознательного я, астрального существования, чей центр, по старым книгам, – грудь, материя – кровь и душа – нервная сила.

Искусственный рай рождается скрытыми законами нашего тела, более мистического, чем это думают физиологи. И нам хочется наслаждений более тонких, более интеллектуальных, радующих своей насмешливой улыбкой небытия. Таким наслаждением являются карты, не игра в них, часто пошлая, часто страшная, нет, они сами, мир их уединенных взаимоотношений и их жизнь, прозрачная, как звон хрустальной пластинки.

Чтобы понять все, что я скажу сейчас, вспомните рисунки Обри Бердслея, его удивительную Саломею, сидящую в бальном платье перед изящным туалетным столиком, и аббата Фанфрелюша в замке Прекрасной Елены, перелистывающего партитуру Вагнера.

Этими певучими гротесками, очаровательными несообразностями художник хотел сказать людям то, что не может быть рассказано.

И всякий, знающий сложное искусство приближений, угадываний и намеков, радостно улыбнется этим смеющимся тайнам и взглянет нежным взором на портрет Обри Бердслея, как странник, который на чужбине случайно услышал родной язык.

Тот же способ подсказывания и намека я возьму для моей *causerie*⁸ о картах.

Карты, их гармоничные линии и строго обдуманного цвета, ничего не говорят нам о прошлом, не владеют чарой атавистических воспоминаний; к будущему человечества и нашего сознания они так же великолепно равнодушны. Они живут теперь же, когда о них думают, особой жизнью, по своим, свойственным только им законам. И для того, чтобы рассказать эти законы, мне придется перевести их на язык человеческих чувств и представлений. Они много потеряют от этого, но, если кто-нибудь не поленится и в ненастный осенний день раскроет

⁸ беседы (фр.).

ломберный стол и, разбросав по нему в беспорядке карты, начнет вдумываться в определенную физиономию каждой, я надеюсь, что он поймет их странное несложное бытие.

Тузы – это солнца карточного неба. Черной мудростью мудрый пиковый и надменный трефовый владеют ночью; день принадлежит царственно-веселому бубновому и пронизанному вещей любовью червонному.

Все четыре короля рождены под их влиянием и сохраняют отличительные черты своих повелителей; но они потеряли способность светиться собственным светом, для своего проявления они прибегают к сношениям с картами низшего порядка, они унижаются до эмоций: посмотрите, как пиковый бросает украдкой недовольные взоры на шаловливого юркого мальчишку, своего валета; трефовый упал еще ниже: он тяготеет к бессмысленно-добрым восьмеркам и неуклюжим девяткам. Короли бубновый и червонный стоят много выше, но все же и на них заметна печать оскудения.

Дамы, эта вечная женственность, которая есть даже в нездешних мирах, влюблены в заносчивого, дерзкого бубнового валета, каждая сообразно своей индивидуальности. Пиковая обнимает его своими смуглыми худыми руками, и поцелуй змеиных губ жжет, как раскаленный уголек. Трефовая легким знаком приказывает ему приблизиться.

Бубновая, гордая *châtelaine*⁹, раздувает свои выточенные нервные ноздри и ждет, скрывая любовь и ревность.

И стыдливая червонная счастлива от одной близости этого надменного мальчишки.

Юркий пиковый, положительный трефовый, избалованный бубновый и скверно-развратный червонный – таков мир валетов, мир попоек, драк и жестоких шалостей. Они любят издеваться и бросать нечистоты туда, в нижние ряды карт.

Там, внизу, уже нет жизни, есть только смутное растительное прозябание, бытие цифр, облеченных в одежду знаков. Но личность проглядывает и там. Один мой приятель обратил мое внимание, что пятерка имеет злое выражение. Я пригляделся к ним и заметил то же самое. Если когда-нибудь будет революция знаков против цифр, в этом, наверно, окажутся виновными пятерки.

Из двоек таинственна только пиковая, хорошо знакомая любителям покера.

1907

⁹ владелица замка (фр.).

Путешествие в страну эфира

I

Старый доктор говорил: «Наркотики не на всех действуют одинаково; один умрет от грамма кокаина, другой съест пять грам и точно чашку черного кофе выпьет. Я знал одну даму, которая грезилла во время хлороформирования и видела поистине удивительные вещи; другие попросту засыпают. Правда, бывают и постоянные эффекты, например, сияющие озера курильщиков опиума, но в общем тут очевидно таится целая наука, донныне лишь подозреваемая, палеонтология де Кювье, что ли. Вот вы, молодежь, могли бы послужить человечеству и стать отличным пушечным мясом в руках опытного исследователя. Главное – материалы, материалы», – и он поднял к лицу запачканный чем-то синим палец.

Странный это был доктор. Мы позвали его случайно прекратить истерику Инны, не потому, чтоб не могли сделать это сами, а просто нам надоело обычное зрелище мокрых полотенец, смятых подушек, и захотелось быть в стороне от всего этого. Он вошел степенно, помахивая очень приличной седой бородкой, и сразу вылечил Инну, дав ей понюхать какое-то кисловатое снадобье. Потом не отказался от чашки кофе, расселся и принялся болтать, задирая нос несколько больше, чем позволяла его старость. Мне это было безразлично, но Мезенцов, любивший хорошие манеры, бесился. С несколько утрированной любезностью он осведомился, не результатом ли подобных опытов является та синяя краска, которой замазаны руки и костюм доктора.

– Да, – важно ответил тот, – я последнее время много работал над свойствами эфира.

– Но, – настаивал Мезенцов, – насколько мне известно, эфир – жидкость летучая, и она давно успела бы испариться, так как, – тут он посмотрел на часы, – мы имеем счастье наслаждаться вашим обществом уже около двух часов.

– Но ведь я же все время твержу вам, – нетерпеливо воскликнул доктор, – что науке почти ничего неизвестно о действиях наркотиков на организм. Только я кое-что в этом смысле, я! И могу заверить вас, мой добрый юноша, – Мезенцова, которому было уже тридцать, передернуло, – могу заверить вас, что, если вы купите в любом аптекарском магазине склянку эфира, вы увидите вещь гораздо удивительнее синего цвета моих рук, который, кстати сказать, вас совсем не касается. На гривенник эфира, господи, и эта чудесная турецкая шаль на барышне покажется вам грязной тряпкой по сравнению с тем, что вы узнаете.

Он сухо раскланялся, и я вышел его проводить. Возвращаясь, я услышал Инну, которая своим томным и, как всегда после истерики, слегка хриплым голосом выговаривала Мезенцову:

– Зачем вы его так, он в самом деле умен.

– Но я, честное слово, не согласен служить пушечным мясом в руках человека, который не умеет даже умыться как следует, – оправдывался Мезенцов.

– Я всецело на вашей стороне, Инна, – вступился я, – и думаю, что нам придется прибегнуть к чему-нибудь такому, если мы не хотим, чтобы наша милая тройка распалась. Бодлэра мы выучили наизусть, от надушенных папирос нас тошнит, и даже самый легкий флирт никак не может наладиться.

– Не правда ли, милый Грант, не правда ли? – как-то сразу оживилась Инна. – Вы принесете ко мне эфиру, и мы все вместе будем его нюхать. И Мезенцов будет... конечно.

– Но это же вредно! – ворчал тот. – Под глазами пойдут круги, будут дрожать руки...

– А у вас так не дрожат руки? – совсем озлилась Инна. – Попробуйте, поднимите стакан с водой! Ага, не смеете, так скажете, не дрожат?!

Мезенцов обиженно отошел к окну.

– Я завтра не могу, – сказал я.

– А я послезавтра, – отозвался Мезенцов.

– Господи, какие скучные! – воскликнула Инна. – Эта ваша вечная занятость совсем не изящна. Ведь не чиновники же вы, наконец! Слушайте, вот мое последнее слово: в субботу, ровно в восемь, не спорьте – я все равно не слушаю, вы будете у меня с тремя склянками эфира. Выйдет что-нибудь – хорошо, а не выйдет, мы пойдем куда-нибудь. Так помните, в субботу! А сейчас уходите, мне надо переодеваться.

II

В субботу Мезенцов зашел за мной, чтобы вместе обедать. Мы любили иногда такие тихие обеды за одной бутылкой вина, с нравоучительными разговорами и чувствительными воспоминаниями. После них особенно приятно было приниматься за наше обычное, не всегда пристойное ничегонеделание.

На этот раз, сидя в общем зале ресторана, заглушаемые громовым ревом оркестра, мы обменивались впечатлениями от Инны. Я был ей представлен месяца два тому назад и через несколько дней привел к ней Мезенцова. Ей было лет двадцать, жила она в одной, но очень большой комнате, снимая ее в совсем безличной и тихой семье. Она была довольно образованна, по-видимому, со средствами, жила одно время за границей, фамилия ее была не русская. Вот все, что мы знали о ней с внешней стороны. Но зато мы оба были согласны, что нам не приходилось встречать более умной, красивой, свободной и капризной девушки, чем Инна. А что она была девушкой, в этом клялся Мезенцов, умевший восстанавливать прошлое женщины по ее походке, выражению глаз и углам губ. Здесь он считал себя знатоком, и не без основания, так что я ему верил.

В конце обеда мы решили, что вдыхать эфир слишком глупо, что гораздо лучше увести Инну на скетинг, и в половине девятого подъехали к ее дому, везя с собою большого бумажного змея, которого Мезенцов купил у бродячего торговца. Мы надеялись, что этот подарок утешит Инну в отсутствии эфира.

Войдя, мы остановились в изумлении. Комната Инны преобразилась совершенно. Все безделушки, все эстампы, такие милые и привычные, были спрятаны, а кровать, стол и оттоманку покрывали пестрые восточные платки, перемешанные со старинной цветной парчой. Мезенцов потом мне признался, что на него это убранство произвело впечатление готовящейся выставки фарфора или эмалей. Впрочем, ткани были отличные, а цвета драпировки подобраны с большим вкусом.

Но удивительнее всего была сама Инна. Она стояла посреди комнаты в настоящем шелковом костюме баядеры с двумя круглыми вставками для груди, на голых от колена ногах были надеты широкие туфли без задков, между туникой и шароварами белела полоска живота, а тонкие, чуть-чуть смуглые руки обвивали широкие медные браслеты. Она сосала сахар, намоченный в одеколоне, чтобы зрочки были больше и ярче. Признаюсь, я немного смутился, хотя часто видел таких баядерок в храмах Бенареса и Дели. Мезенцов немного улыбался и старался куда-нибудь сунуть своего бумажного змея. Наши надежды поехать в скетинг рассеялись совершенно, когда мы заметили на столе три большие граненые флакона.

– Здравствуйте, господа, – сказала Инна, не протягивая нам руки, – светлый бог чудесных путешествий ждет нас давно. Берите флаконы, занимайте места, и начнем.

Мезенцов криво усмехнулся, но смолчал, я поднял глаза к потолку.

– Что же, господа? – повторила так же серьезно Инна и первая с флаконом в руках легла на оттоманке.

– Как же его надо вдыхать? – спросил Мезенцов, неохотно усаживаясь в кресло.

Но тут я, видя, что вдыхание неизбежно, и не желая терять даром времени, вспомнил наставления одного знакомого эфиромана.

– Приложите одну ноздрю к горлышку и вдыхайте ею, а другую зажмите. Кроме того, не дышите ртом, надо, чтобы в легкие попадал один эфир, – сказал я и подал пример, откупорив свой флакон.

Инна поглядела на меня долгим признательным взглядом, и мы замолчали.

Через несколько минут странного томления, я услышал металлический голос Мезенцова:

– Я чувствую, что поднимаюсь.

Ему никто не ответил.

III

Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных, волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова нарастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.

Море вокруг, рыжее, плещущее яро. На гребнях волн синяя пена; не в ней ли доктор запачкал свои руки и пиджак?

Я поплыл на запад. Кругом плескались дельфины, чайки резали крыльями волну, а меня захлестывала горькая вода, и я был готов потерять сознание. Наконец, захлебнувшись, я почувствовал, что у меня идет носом кровь, и это меня освежило. Но кровь была синяя, как пена в этом море, и я опять вспомнил доктора.

Огромный вал выплеснул меня на серебряный песок, и я догадался, что это острова Совершенного Счастья. Их было пять. Как отдыхающие верблюды, лежали они посреди моря, и я угадывал длинные шеи, маленькие головки и характерный изгиб задних ног. Я пробегал под пышновеерными пальмами, подбрасывал раковины, смеялся. Казалось, что так было всегда и всегда будет. Но я понял, что будет совсем другое, миновав один поворот.

Нагая Инна стояла предо мной на широком белом камне. Руки, ноги, плечи и волосы ее были покрыты тяжелыми драгоценностями, расположенными с такой строгой симметрией, что чудилось, они держатся только связанные дикой и страшной Инниной красотой. Ее щеки розовели, губы были полураскрыты, как у переводящего дыханье, расширенные, потемневшие зрачки сияли необычайно.

– Подойдите ко мне, Грант, – прозвучал ее прозрачный и желтый, как мед, голос. – Разве вы не видите, что я живая?

Я приблизился и, протянув руку, коснулся ее маленькой, крепкой, удлиненной груди.

– Я живая, я живая, – повторяла она, и от этих слов веяло страшным и приятным запахом канувших в бездонность земных трав.

Вдруг ее руки легли вокруг моей шеи, и я почувствовал легкий жар ее груди и шумную прелесть близко склонившегося горячего лица.

– Унеси меня, – говорила она, – ведь ты тоже живой.

Я схватил ее и побежал. Она прижалась ко мне, торопя:

– Скорей! Скорей!

Я упал на поляне, покрытой белым песком, а кругом стеною вставала хвоя. Я поцеловал Инну в губы. Она молчала, только глаза ее смеялись. Тогда я поцеловал ее опять...

Сколько времени мы пробыли на этой поляне, – я не знаю. Знаю только, что ни в одном из сералей Востока, ни в одном из чайных домиков Японии не было столько дразнящих и восхитительных ласк. Временами мы теряли сознание, себя и друг друга, и тогда похожий на большого византийского ангела андрогин говорил о своем последнем блаженстве и жаждал разделения, как женщина жаждет печали. И тотчас же вновь начиналось сладкое любопытство друг к другу.

Какая-то большая планета заглянула на нашу поляну и прошла мимо. Мы приняли это за знак и, обнявшись, помчались ввысь. Снова красные и зеленые облака катали нас на своих дугообразных хребтах, снова звучали резкие, гнусные голоса всемирных гуляк. Бледный, с закрытыми глазами, в стороне поднимался Мезенцов, и его пергаментный лоб оплетали карминно-красные розы. Я знал, что он бормочет заклинанья и творит волшебство, хотя он не поднимал рук и не разжимал губ. Но что это? Красные и зеленые облака кончились, и мы среди белого света, среди фигур бесформенных и туманных, которых не было раньше. Значит, мы потеряли направление и вместо того, чтобы лететь вверх, к внешнему миру, опустились вниз, в неизвестность. Я посмотрел на Инну, она была бледна, но молчала. Она еще ничего не заметила.

IV

Место это напоминало античный театр или большую аудиторию Сорбонны. В обширном амфитеатре, расположенном полукругом, толпились закутанные в белое безмолвные фигуры. Мы очутились среди них, и из всеобщей белизны ярко выделялись розы Мезенцова и драгоценности Инны.

Перед нами, там, где должны были бы находиться актеры или кафедры, я увидел старого доктора. В черном изящном сюртуке он походил на лектора и двигался как человек, вполне владеющий своей аудиторией. Очевидно было, что он сейчас начнет говорить. Как перед большой опасностью, у меня сжалось сердце, захотелось крикнуть, но было поздно. Я услышал ровный, твердый голос, сразу наполнивший все пространство.

«Господа! Лучшее средство понять друг друга – это полная искренность. Я бы с удовольствием обманул вас, если бы мне было это нужно. Но это мне не нужно. Чем отчетливее вы будете сознавать свое положение, тем выгоднее для меня. Я даже буду пугать вас, искушать. Моя правдивость сделает то, что вы сумеете противостоять всякому искушению.

Вы находитесь сейчас в моей стране, я предлагаю вам остаться в ней навсегда. Подумайте! Отказаться от любви и ненависти, смен дня и ночи. У кого есть дети, должен отказаться от детей. У кого есть слава, должен отказаться от славы. Под силу ли вам столько отречений?

Я ничего не скрываю. Пока вы коснулись лишь кожицы плода и не знаете его вкуса. Может быть, он вам покажется терпким или кислым, слишком сладким или слишком ароматным. И когда вы раскусите косточку, не услышите ли вы тихого, страшного запаха горького миндаля? Кто из вас любит неизвестность, хочет, чтобы завтрашний день был целомудрен, как невеста, не оскорбленная даже в мечтах?

Только тех, чей дух подобен электрической волне, только веселых пожирателей пространств зову я к себе. Они встретят здесь неизмеримость, достойную их. Здесь все, рожденное в первый раз, не походит на другое. Здесь нет смерти, прерывающей радость, движения, познавания и любованья. И здесь все вам родное, потому что все – это вы сами! Но время идет, срок близится; или разбейте склянки с эфиром, или вы навеки в моей стране!»

Доктор кончил и наклонился. Бурный восторг всколыхнул собрание. Замахали белые рукава, и понесся оглушительный ропот: «Доктора, доктора!»

Я никогда не думал, чтобы лицо Инны могло засветиться таким безмолвным счастьем, таким трепетным обожаньем. Мезенцова я не заметил, хотя и высматривал его в толпе. Между тем крики все разрастались, и я испытывал смутное беспокойство. У меня как-то отяжелели ноги, и я стал замечать мое затрудненное дыхание. Вдруг над самым ухом я услышал озабоченный голос Мезенцова, зовущего доктора, и открыл глаза.

V

Мой флакон эфира был почти пуст. Мне чудилось, точно меня откуда-то бросили в эту, уже знакомую комнату, с восточными тканями и парчей.

– Разве ты не видишь, что с Инной? Ведь она умирает! – кричал Мезенцов, склонившись над оттоманкой.

Я подбежал к нему. Инна лежала не дыша, с полуоткрытыми побелевшими губами, а на лбу ее надулась тонкая синяя жила.

– Отними же у нее эфир, – пробормотал я и сам поспешил дернуть ее флакон. Она вздрогнула, лицо ее исказилось от муки, и, не открывая глаз, уткнувшись лицом в подушку, она зарыдала сразу, как ушибшийся ребенок.

– Истерика! Слава Богу, – сказал Мезенцов, опуская полотенце в кувшин с водою, – только теперь уже мы не позовем доктора, нет, довольно! – он стал смачивать Инне лоб и виски, я держал ее за руку. Через полчаса мы могли начать разговор.

Я обладаю особенно цепкой памятью чудесного, всегда помню все мои сны, и понятно, что мне хотелось рассказывать после всех. Инна была еще слаба, и первым начал Мезенцов.

– Я ничего не видел, но испытывал престранное чувство. Я качался, падал, поднимался и совершенно забыл различие между добром и злом. Это меня так забавляло, что я решил причинить кому-нибудь зло и только не знал кому, потому что никого не видел. Когда мне это надоело, я без труда открыл глаза.

Потом рассказывала Инна:

– Я не помню, я не помню, но ах, если бы я могла вспомнить! Я была среди облаков, потом на каком-то песке, и мне было так хорошо. Мне кажется, я и теперь чувствую всю теплоту того счастья. Зачем вы отняли у меня эфир? Надо было продолжать.

Я сказал, что я тоже видел облака, что они были красные и зеленые, что я слышал голоса и целые разговоры, но повторить их не могу. Бог знает почему, мне захотелось скрытничать. Инна на все радостно кивала головой и, когда я кончил, воскликнула:

– Завтра же мы начнем опять, только надо больше эфиру.

– Нет, Инна, – ответил я, – завтра мы ничего не увидим, у нас только разболится голова. Мне говорили, что эфир действует только на неподготовленный к нему организм, и, лишь отвыкнув от него, мы можем вновь что-нибудь увидеть.

– Когда же мы отвыкнем?

– Года через три!

– Вы смеетесь надо мной, – рассердилась Инна, – я могу подождать неделю, ну две, и то это будет пытка, но три года... нет, Грант, вы должны что-нибудь придумать.

– Тогда, – пошутил я, – поезжайте в Ирландию к настоящим эфироманам, их там целая секта.

Они, конечно, знают более совершенные способы вдыхания, да и эфир у них, наверно, чище. Только умирают они очень быстро, а то были бы счастливейшими из людей.

Инна ничего не ответила и задумалась. Мезенцов поднялся, чтобы уйти, я пошел с ним. Мы молчали. Во рту неприятно пахло эфиром, папираса казалась горькой.

Когда мы опять зашли к Инне, нам сказали, что она уехала, и передали записку, оставленную на мое имя.

«Спасибо за совет, милый Грант! Я еду в Ирландию и, надеюсь, найду там то, чего искала всю жизнь. Кланяйтесь Мезенцову. Ваша Инна.

Р. S. Зачем вы тогда отняли у меня эфир?»

Мезенцов тоже прочитал записку, помолчал и сказал тише обыкновенного:

– Ты заметил, как странно изменились после эфира глаза и губы Инны? Можно подумать, что у нее был любовник.

Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни.

1914

Леонид Андреев

Воскресение всех мертвых

Мечта

Трубным кличем архангелов было возведено миру о грядущем воскресении всех мертвых. Заутра во славе грядет Господь всех сил, и мертвые восстанут из гробов.

И с того же часа стала преображаться земля. Еще не наступило новое, а уже кончилось старое, растаяло, как дым, исчезло, как мучительный сон тысячелетний. Как будто их и не было никогда: отошли все заботы о жизни, страдание и печаль, болезни и смерть; и не стало никакой иной заботы у живущего, как только в радости и красоте встретить заутра грядущего Господа.

Быстро и легко спало с земли ее рубище, одежда серая и печальная. Еще действовали на земле те темные и загадочные силы, непримиримые и беспощадные, что раньше назывались законами природы и все сущее подчиняли своей суровой и грозной власти, но все медленнее становился их тяжелый ход, все нерешительней – проявления. Так замедляет свой ход машина, подходя к последней остановке; так медленнее движет свои полные воды река, впадая в море; так вяло, нерешительно, ласково и слабо распоряжаются цари, сходя с трона. Еще приказывают они, но уже не ждут исполнения и равнодушны к последствиям. И еще шумело темное море, и ветер двигался по своим кругам, но не было уже ярости в извечном шуме морском, и не гибли корабли: стихало море, плескалось тихо, ложилось спокойно. И местами еще догорали пожары, но не стало ярости и силы и у огня: светило пламя кровавым светом своим, но уже не жгло оно, не сжигало, не обжигало до боли, а почти ласково бродило по окружности, затихая.

И еще было пространство, делимая бесконечность, ужас возврата вечного, – и кто хотел делить его по-прежнему, тот еще делил, и кто хотел идти или ехать или бежать, тот ехал и бежал; но уже не было и пространства, и становился человек там, где он хотел быть: здесь, там, везде – и здесь, и там, и везде. Еще не знали люди, как это делается, а уже делали: вдруг вошли в свои гавани, в свои бухты, заливы и стоянки все корабли – из самых дальних стран вернулись мгновенно; и в сумраке предвечернем над морем стихшим гирляндами повисли светящиеся оконца огромных пароходов, земных гигантов. И где еще по рельсам бежали, а где по воздуху неслись, а где и мгновенно становились в месте желаемом многочисленные поезда с бесчисленными пассажирами.

И еще было время, делимая бесконечность, ужас возврата вечного: двигались стрелки по кругу, на колокольнях звонили часы, темнота наступала, а уже не стало и времени: начиналось вечное, что не измеряется, не движется, не течет, а пребывает вечно – одно во всем, и все в одном.

И уже не стало ни верха, ни низа; ни вчера, ни сегодня; ни здесь, ни там – одно во всем, и все в одном, образ истинный и вечный. Неслышно и быстро преображалась земля под властью нового Царя, Господа всех сил, секиры разрешающей.

И по всей земле стала тьма, но это не была та прежняя страшная ночь, что, как тень смерти, ложится на одну сторону земли и ползет по ней, подобно гаду: все круглые и милые бока земли с ее синими океанами и золотой твердью окутала одна тихая и прозрачная мгла, тьма голубая и ясная, смягченный свет. И не для страха была она, не для злых дел ночных, не для разврата и снов обманчивых и мучительных, как прежде, а имела она дать земле и людям некоторый ласковый и стыдливый покров: пусть в некоторой тихой тайне готовится мир, спешно и радостно украшается красотой, тихо облекается в одеяния брачные, наряды

праздничные, одежды светлые. Кто отнимет радость у невесты, стыдливо украшающей себя к прибытию жениха? Все званы на пир, и ждет ласковый хозяин гостей нарядных и смеющихся.

Поспешно скидывала земля одежду мертвого скомороха, личину тленную. И еще не наступило новое, а уже кончилось старое, кончилось сразу и навсегда, растаяло, как туман, исчезло, как ужасный сон тысячелетний, – ушло тихо и навсегда. И даже не думали о нем, так тих и незаметен был его уход, так ясна и всем понятна стала мрачная ложь тысячелетий; и даже не вспоминали о нем, и не было человека на земле, который оглянулся бы назад в глухую тьму ушедшего: с радостью или гневом, тоскою или проклятием. Все узнал и все понял человек, все простил и все полюбил, нашел все, что искал: все понял и все узнал человек. И не стало ни печального, ни больного, ни скорбного; и не стало ни чудесного, ни странного, ни удивительного; и не стало ни доброго, ни злого. Погибла самая память о былом, и остановились все дела.

Останавливались и остановились все поезда, пароходы, все машины плавающие, бегающие и летающие. Останавливались и остановились все фабрики, заводы, все машины делающие и творящие, биллионы железных сил. И стих ужасный грохот, лязг и звон, стук и бряцание, вой и свист, шипение и гул; стихал и стих страшный и печальный голос бесчисленных железных сил, крутящихся в вихре непрерывного движения.

Открылось все запертое, все двери и ворота: у тюрем и у дворцов, у домов и церквей, железных звериных клеток и конур, – все двери открылись и стали открыты. Еще стояли дома, громады каменных клеток, поставленных одна на другую; и еще проходили улицы между домами, и еще были города, но уже не было ни домов, ни улиц, ни городов: легкими призраками высились когда-то тяжкие стены, сотканые из тумана; кое-где таяли уже, исчезали бесшумно. И еще были люди и звери; еще были цари и нищие, рабы и господа, мужчины и женщины, дети и старики, больные и здоровые, – но уже не было ни царей, ни нищих, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. И уже вышли звери из лесов – так-таки и вышли, покинули норы, гнезда и логовы свои: вошли, вползли, влетели в города, ласковые и прекрасные звери, доселе неведомые друзья. И красивы стали улицы, окутанные тьмой голубой и прозрачной, когда среди праздничных людских одежд замелькали прекрасные тигровые пятна, и тихий блеск чешуи, кожи змеиной, впелся в темень толпы, и зеленые огоньки звериных чудесных глаз затеплились понизу и поверху, впереди и сзади. И многие каменные стены сразу становились прозрачными, быстро и тихо таяли, когда возле зажигался огонек звериных глаз: пропадали города, как злые призраки – ни одного города не должно было застать великое и последнее утро.

Все пришли звери, и только медведь запоздал: спал крепко, долго не мог проснуться, хотя и слышал сквозь сон клич архангелов; а когда проснулся, то сразу все понял и все узнал, поспешно заковылял на своих вывернутых лапах, еще не вспомнил, что может так – и не идти, и не двигаться, а просто так.

И еще почивали мертвые в своих гробах.

И всем очень хотелось гулять, но было некогда: надо было украсить, быть готовыми к утру. И вот такой спешки еще никогда не было на земле, даже в великий день творения ее: в одну короткую ночь приукраситься всей красотой всему живому и всему существу. Ночь тепла и прозрачна, но ночь коротка: и с тихим шелестом, как знамена в ночи, развернулись листья на деревьях, поползли травы из теплой земли, целые гигантские деревья, целые леса возникли в мгновение и строились праздничными рядами, толковали тихо, как расположиться красивее. Торопливо распускались цветы, несметная рать детей божьих, белые и красные, голубые и лиловые: и каждый цветок обдумывал внимательно красоту свою, проверял лепестки и пестики – а их было множество – несметная рать детей божьих! Старались и камни: твердые базальты, холодные граниты, жестокие порфиры – торопливо ровняли кристаллы свои, чудесную каменную ткань; и даже тот ничтожный камушек, что года лежал на площади под ногами, тоже старался: что-то такое делал внутри себя, задыхаясь от поспешности. Торопились и воды морские, речные, озерные и болотные: растекались наикрасивейше, переливали цве-

тами, ища наилучшего, готовились к необыкновенным отражениям, чистили свое пречистое зеркало. И даже та маленькая лужица, что только вчера захворала от сухости и готовилась к смерти, засутилась в беспокойстве: что-то такое делала внутри себя, задыхаясь от великой поспешности.

Украшались и звери красотой: подновляли пятнисто-золотистые шкуры свои, отряхивались пушистыми хвостами, пробовали друг на друге свет глаз своих – торопились. Украшались птицы и гады; и таинственные чудища морские и подземные любовно чистили свои щиты и панцири, подновляли бородавки и мозоли кожистых животов своих – обдумывали наряд. И вещие очи их, доселе обреченные на тьму и тайну, широко открылись миру, водянисто блестя в голубой и прозрачной мгле, лежавшей над синим океаном. Украшались насекомые: и каждый, и каждая, и каждое тщательно обдумывали безумно сложный наряд свой; и пестрые бабочки, несметная рать детей божьих, торопливо крыли пыльцой новенькие крылышки свои, пробовали полет, наикрасивейше располагались на взошедших уже лугах, среди расцветших уже цветов, их родных братьев по Богу. И те невидимые человеческим глазам, но зримые глазу Божьему, мириады бесчисленные, – и те украшались торопливо: что-то такое делали внутри себя, отчего и они становились праздничными, достойными внимания и похвалы.

И уже тишина наступала, но еще не наступила она: откуда-то с краев земли и с высот над землею шел сдержанный грохот и гул. То громы небесные готовились к приветствию; то горы сдвигались, равняясь в праздничные ряды; то льды холодных полюсов возносили кристальные арки и мосты, проверяли иступившиеся грани свои; то громы небесные готовились к приветствию, рокотали сдержанно, как великаны на спевке.

И торопливо украшались красотой люди. Еще не все знали, что такое красота, но этого и не нужно было знать: было красотой все, что хотело быть красотой и радостью приветствия. Торопливо и весело раскрашивались полинезийцы, вставляя новые щепочки в уши и носы, татуировались без боли; чистили вороных коней арабы и в белейших бурнусах своих гарцевали в пустыне, готовясь и горяча коней; внимательно брились англичане, по два раза проходя бритвой по одному и тому же месту; рядились бабы в пестрые паневы, и генералы надевали ордена и звезды. И что считали праздничным и красивым, то и надевали; и не было разницы в красоте между царской древней короной, усеянной жемчугами, и рваной рубахой из рядины, цветистой татуировкой на бронзовом теле. И тот негритянский маленький царек, что носил на голове жестяную коробку от консервов, так и надел ее; и те, что были военными, облеклись в парадные лучшие мундиры, украсились позолотой, пуговицами блестящими и шнурами; и те, что носили черные фраки, надели черные фраки; и многие дамы надели бальные открытые платья и сделали прическу; и та печальная и грешная дама, у которой было раскрашено лицо и имелась одна только чрезмерно большая шляпа – снова накрасила свое серое лицо и надела чрезмерно большую шляпу. Даже и полицейские надели форму свою, так как была она для них красивейшим, что они знали; и каждый внимательно обдумывал свой наряд, искал наилучшего. И, что бы каждый ни надевал, все было хорошо, красиво и уместно: все было красотой, что хотело быть красотой и радостью приветствия.

Но жила на земле одна бедная и одинокая старуха, у которой не нашлось на тот час ни единой праздничной одежки: и уж хотела заплакать она, точно и не слыхала клича архангелов. Заплакать хотела она, глухая, глупая, бестолковая старуха, не имевшая даже единой одежки праздничной, платка белого! Но вдруг просветлела она светом внутренним: и стали морщины ее прекрасны, и седина ее стала прекрасна; и вошла она в круг званных, как прекраснейшая из прекрасных.

Не было сна на земле в ту последнюю и голубую ночь; тихо шумела она, как муравейник, и каждый маленький муравейник, государство лесное, шумел на ней: облекался красотой, готовился к приветствию. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был, завтра назовет Господь по имени. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был и как бы мал он ни был и сколько его ни

было на земле: каждую отдельную песчинку, каждую инфузорию, букашку самую маленькую и скромную, – каждого отдельного заутра назовет Господь по имени. И знал каждый отдельный про радость и великое уважение, готовящиеся ему, и торопился изо всех сил, не думал, что он плох, потому что мал и незаметен. Каждого увидит, каждого заметит, каждому окажет уважение Господь всех сил, секира разрешающая, благость безмерная, любовь бесконечная. И незаметно таяла ласковая и стыдливая тьма, становилась розовым предутренним светом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.